
К ЮБИЛЕЮ Н. С. ЛЕСКОВА

Алла Новикова-Строганова
(г. Орел)

ЧЕСТНОЕ СЛОВО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
(к 190-летию Н.С. Лескова)



Алла Анатольевна Новикова-Строганова — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, историк литературы, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Знаменательные и памятные даты — хороший повод, чтобы всерьез приобщиться к нашему духовному и творческому наследию, которое с годами не только не устаревает, но во многом опережает нынешнее время. 16 февраля 2021 года исполнится 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831—1895) — одного из крупнейших русских христианских писателей-классиков.

Небывалый талант Лескова, созданный им самобытный художественный мир ни при жизни писателя, ни долгое время после его смерти не был оценен по достоинству. Стихотворная строчка Игоря Северянина о Лескове: «Достоевскому равный, он — прозванный гений», — до недавнего времени звучала горькой истиной. Тот же поэт приблизился к постижению сущности творчества Лескова, когда образно сравнил писателя со священнослужителем:

*Придет весна, светла как Божья Матерь,
И повелит держать пасхальный звон,
И выйдет, как священник на амвон,
Писатель...*

Пожалуй, наиболее точную характеристику дал литературный критик М. О. Меньшиков, назвавший лесковское творчество «художественной проповедью»*.

Лесков был убежден в том, что книги должны «не только занять внимание читателя, но дать какое-нибудь доброе направление его мыслям». Это «доброе направление» писатель связывал прежде всего с верой в Бога, отмечая, что «цели христианства вечны»**. Лесков говорил, что всегда имел в виду «важность Евангелия», в котором, по его убеждению, «сокрыт глубочайший смысл жизни» (XI, 233). «Истина,

* Меньшиков М.О. Художественная проповедь (XI том сочинений Н.С. Лескова) // Меньшиков М.О. Критические очерки. — СПб., 1899.

** Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т.— М.: ГИХЛ, 1956 — 1958.— Т. 11.— С. 287. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.

добро и красота» — в этой триединой формуле он выразил идеал, к которому необходимо стремиться.

«Литература — тяжелое, требующее великого духа поприще», — говорил Лесков и самоотверженно шел этим путем, который можно расценить как настоящий писательский подвиг. На склоне лет художник «непостыдной совести» мог по праву заявить: «Я отдал литературе всю жизнь и передал ей все, что мог получить приятного в этой жизни, а потому я не в силах трактовать о ней с точки зрения поставщицей. <...> я верую так, как говорю, и этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничего, — и лгать не стану, и дурное назову дурным кому угодно»*.

В своем творчестве Лесков изобразил многокрасочную полноту мира, мозаично пестрые картины жизни России. Как былинного богатыря, писателя, по его словам, «тяготила тяга» знания родной земли». Лесковское творчество проникнуто подлинным, не книжным знанием народной жизни. В цикле статей «Русское общество в Париже» (1863) автор заявлял: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я *вырос в народе* на гостомельском выгоне <...>, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек». Будучи «насквозь русским», зная русского человека «в самую его глубь», писатель воплотил в своих героях — с их речью, мироощущением, душевными порывами — все существенные особенности национального характера. Томас Манн справедливо отмечал, что Лесков писал «чудеснейшим русским языком и провозвестил душу своего народа так, как это, кроме него, сделал только один — Достоевский».

Лесков вступил на писательскую стезю в 1860-е годы, будучи уже зрелым, сформировавшимся человеком с большим жизненным опытом и огромным запасом житейских наблюдений. Не завершив образования в орловской гимназии, «свои университеты» будущий писатель постигал «самоучкой». В литературе он выступил прежде всего как публицист. Он сотрудничал в разных периодических изданиях Москвы и Петербурга, и уже первые публикации «новейшего орловца» привлекли внимание читателей актуальной проблематикой, живой достоверностью и объемностью знаний, честной авторской позицией, искренней интонацией. Стремясь, по его словам, «пролить в массы свет разума», Лесков — публицист-просветитель поднимал множество тем: «Торговая кабала», «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Русские женщины и эмансипация», «Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному просвещению», «Русские люди, состоящие “не у дел”» и др. В своих заметках, статьях, очерках, многие из которых и сегодня воспринимаются как остроактуальные, автор не просто высказывал собственное мнение по животрепещущим социально-экономическим, политическим, культурным вопросам, но и обращался к самой сути жизни России, ни на минуту не забывая об ответственной позиции «глашатая истины», призванного к активной борьбе со злом, произволом, деспотизмом, невежеством, косностью, коррупцией и другими пороками.

После статьи о петербургских пожарах, в которой автор призывал бездействующую власть либо опровергнуть слухи о поджигателях, либо — если толки небеспочвенны — найти и наказать злодеев, Лесков оказался в положении «между двух огней». В раскаленной политической атмосфере тех лет «пожарная статья» вызвала суровые нападки «справа» и «слева»: со стороны правящего лагеря свое неодобрение выразил Александр II, а радикальная литературная критика фактически объявила Лескову бойкот. Писатель, по его словам, был «распят заживо».

С тех пор он прокладывал себе «третий» путь — «против течений», искал «противоположную всем дорогу». «Не подчиняясь ни партийным, ни каким другим дав-

* Цит. по: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х т. — Т. 2. — М.: Худож. лит., 1984. — С. 348.

лениям» (XI, 222), Лесков отказывался «с притворным благоговением нести мишурные шнуры чьего бы то ни было направленного штандарта» (XI, 234). «Свое уединенное положение» (XI, 425) писатель подчеркивал в показательной самохарактеристике: «Дело просто: я не нигилист и не аутократ, не абсолютист и не ищу славы моего, но славы пославшего мя Отца» (XI, 425).

О пастырском служении — «учить, вразумлять, отклонять от всякого <...> вздора и суеверий» — размышлял Лесков уже в своем дебютном художественном произведении «Погасшее дело («Засуха»)» (1862). Знаменательно, что первым героем лесковской беллетристики стал сельский священник — отец Илиодор. В подзаголовке помечено: «Из записок моего деда». Дед Лескова умер еще до рождения внука, но будущий писатель знал о нем от родных: «всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Димитрия Лескова». В характере героя «Засухи» многое предвещает центральную фигуру романа-хроники «Соборяне» (1872) — Савелия Туберозова. Болея душой за судьбу Родины, этот «мятежный протопоп» и бесстрашный проповедник убежден, что нельзя жить «без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих... это сгубит Россию» (IV, 183).

С целью опровержения крайне пессимистического заявления А. Ф. Писемского, объявившего, что он видит во всех своих соотечественниках одни только «мерзости», Лесков в предисловии к рассказу «Однодум» (1879) возвестил: «Мне это было и ужасно и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых “несть граду стояния”» (VI, 642). Эти поиски стали магистральными в творчестве писателя. «У нас не переводились, да и не переведутся праведные,— утверждал он в рассказе «Кадетский монастырь» (1880).— Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть». «Это своего рода маяки»,— писал Лесков в очерке «Вычегодская Диана (Попадья-охотница)» (1883). Почти в каждом его произведении, начиная с ранних, оживают типы людей «высокой пробы» всех сословий и званий. В этом отношении Лесков — уникальная фигура в истории литературы.

В противовес сегодняшней всеобщей жажде наживы и продажности, «замечаемому ныне чрезмерному усилению в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия»,— как говорил писатель,— в его цикле о праведниках изображены «отрадные явления русской жизни», «сердца», что «были немножко потеплее и души поучастливее». По словам Бориса Константиновича Зайцева, жизнь лесковских героев-праведников — это «рука, протянутая человеком к человеку во имя Бога».

«Живой дух веры», самоотверженная любовь к Богу и ближнему в соединении с практическим делом показаны Лесковым в разнообразных проявлениях. Таковы, например, неподкупность «неберущего квартального» Рыжова («Однодум»); бессребрничество Николая Фермора, стремление к святости Брянчанинова и Чихачева («Инженеры-бессребреники»); совестливость, благородство, участливость воспитателей-наставников («Кадетский монастырь»); духовный свет «русских богоносцев» — священнослужителей («Некрещеный поп», «Владычный суд», «На краю света»); патриотизм и талантливость Левши («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»). Готовы на подвиг самоотвержения во имя высокого человеколюбия герои рассказов «Павлин», «Пигмей», «Русский демократ в Польше», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник», «Человек на часах», «Пугало», «Дурачок», «Томление духа», «Фигура» и многих других.

Праведники, которых Лесков разыскивал на протяжении всего творческого пути и среди священников, и среди мирян — среди всех сословий и социальных групп русского общества,— давали повод для оптимизма, для *оправдания* Руси. Однако в «банковский период» ситуация обострялась тем, что христианские порывы лесковских героев не могли кардинально изменить «безбожную» действительность, приблизить обетование пророчества Исаии о том времени, когда «земля будет наполнена ведением

Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11: 9). Вот почему в последние годы писатель обращается к обличительному, остро сатирическому изображению жизни.

Россия — страна, где человека постоянно подстерегают «метаморфозы», «сюрпризы» и «внезапности»: «что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный» (Ш, 383). Лесков остро ощущал хрупкость и алогичность человеческого существования в условиях «гносной расшейской действительности»: «смех и горе», любовь и ненависть, надежда и отчаяние — эти сильнейшие колебания «эмоционального маятника» создавали ощущение разбалансированности, крайней неустойчивости бытия, которое могло бы быть цементировано христианской верой, следованием заповедям Нового Завета. Усиление критического пафоса в лесковских произведениях последнего периода творчества связано прежде всего с созидательной задачей «стремления к высшему идеалу» (X, 440).

Именно «вера в прекрасное», несмотря на «полное вырождение общества», питала проповеднический энтузиазм Лескова. Задачу писателя составляло не только стремление затормозить процесс нравственного оскудения, но и восстановить утраченный тип «высокого вдохновения», духовный потенциал человека. При перечитывании Нового Завета Лесков обращает внимание на «прямое указание, что Христа озабочивает, чтобы упразднить всякое начальство и всякую власть и силу, и что без этого дело Его здесь не кончится»*. В Евангелии читаем: «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, и всякую власть, и силу» (1 Коринф. 15: 24).

Писатель решает воочию показать, насколько общество отклонилось от идеала христианства. «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки, — таково авторское самоопределение. — <...> Эти вещи не нравятся публике за цинизм и простоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает. <...> Я хочу бичевать ее и мучить»**. Это целительное бичевание в атмосфере полнейшего цинизма и нравственной индифферентности сродни тому бичеванию, которым Христос изгонял торгующих из храма.

Писатель чаще всего использовал излюбленную им форму «рассказа кстати» — точнее это можно назвать лесковской литературной тактикой. Все его произведения (не только собранные в цикл «Рассказы кстати») — так или иначе «по поводу» и «кстати». Верный своей «журналистской жилке», отталкиваясь от конкретного животрепещущего, актуального события, Лесков постепенно поднимается до больших художественных обобщений. Многие из «рассказов кстати», в том числе малоизвестные, не вошедшие в одноименный цикл, — «Два свинопаса», «Новозаветные евреи», «Уха без рыбы» и др., — показательная иллюстрация религиозных размышлений и философских идей Лескова.

В рассказе «Старинные психопаты» (1885) писатель показывает религиозные воззрения «легендарного оригинала» «самодумного» пана Вишневого: «В вопросах веры он был невежда круглый и ни в критику, ни в философию религиозных вопросов не пускался, находя, что “се діло поповское”, а как “лыцарь” он только ограждал и отстаивал “свою веру” от всех “иноверных”, и в этом пункте смотрел на дело взглядом народным, почитая “христианами” одних православных, а всех прочих, так называемых “инославных” христиан — считал “недоверками”, а евреев и “всю остальную сволочь” — *поганцами*» (7, 296).

Рисуя теплоту искренней веры в рассказе «Интересные мужчины» (1885), писатель указал и на иную — настораживающую — фигуру. «Колдун», «мистик» Август Матвейч, в облике которого рассказчику чудится что-то холодное и безучастно-механистическое: «похож на никогда не изменяющие себе английские часы в длин-

* Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. — М.: Гослитиздат, 1962. — С. 546 — 547.

** Цит. по: Фаресов А. И. Против течений. Н. С. Лесков, его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. — СПб., 1904. — С. 382.

ном фуляре <...> указать они могут все, отметят все — и останутся сами собой (7, 329—330). В то же время этот «человек-часовой механизм» имеет в своем облике нечто inferнальное: «красная шелковая фуфайка, как кровь, сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя живую кожу да чем-то только обернулся» (7, 330). «Живой часовой механизм» Август Матвейч бормочет себе под нос польские стихи, от которых рассказчику делается жутко, «не по себе»:

*Я Бога не хочу, я не чую неба,
Я на небо не пойду... (7, 332).*

Именно «не хотят Бога, не чуют неба» многие персонажи последних остро критических произведений Лескова. «Чиновники с виду», администраторы, власть предержащие, «чертовы куклы» (так называется последний роман Лескова) объективно избирают сторону зла, занимают позицию доброненавистников.

Праведник Рыжов («Однодум») заявляет губернатору, что власти «ленивы, алчны и пред престолом криводушны». Таковы, к примеру, герои «Совместителей» (1884), «соемещающие» служебный долг с альковными обязанностями в постели одной и той же дамы. Таково «Умершее сословие» (1888) губернаторов типа «невразумительного» Трубецкого, «охотника пошуметь», который «знал и понимал в делах очень мало, но безмерно любил власть и страдал охотою вмешиваться во все» (7, 421).

Таково привычное для чиновной России явление, названное Лесковым «Административная грация» с подзаголовком «Zahme dressur... <ручная дрессировка (нем.)> в жандармской аранжировке» (по мнению сына писателя, рассказ был создан в 1893 г. При жизни Лескова не публиковался). «Цирковой» трюк состоит в том, что «умелому администратору грация помогает самое неприятное дело развязать так, чтобы на его ведомстве не оказалось ни пятнышка, а вся грязь осталась на тарелке, то есть на самом обществе».

Понятен и органичен устрашающий библейский эпиграф к рассказу «Административная грация»: «*Оскверни беззакония всю землю и наполнена суть дела их вредная. Ездры. III кн. гл. XV, 6*». Нравственно разлагающуюся, смердящую современность Лесков уже именует не просто временем «разгильдяйства и шатаний» (XI, 300), «всяческих уродств и кривляний», но прямо называет «*смердными днями*».

В развернутой метафоре рассказа «Загон» (1893) автор констатирует: «это был уже не город, а какое-то разбойное становище». И далее естественны библейские аллюзии: «И увидел Бог, что злы здесь дела всех <...> не обрета ни одного праведного» (12, 105 — 106).

Отсюда уже совсем недалеко до «Содома и Гоморры»* рассказа «Зимний день» (1894). Налицо эмоционально-семантическая общность библейских эпиграфов, которые под пером Лескова становятся универсальными нравственно-философскими метафорами. К «пейзажу и жанру» «Зимнего дня» подобран эпиграф не менее жуткий: «*Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью*» Иова, V, 14» (12, 4).

Лесков показал картину всеобщего разложения, продажности, подкупа, шпионства, доносов, предательства, разврата и разгула чувственной похоти — «*свинопасения*» (если использовать образ его рассказа «Два свинопаса»). Как известно из Евангелия, бесы, вселившись в свиней, побудили их броситься в бездну. Писатель видит глубину этой губительной бездны и не может не ужасаться ей: ««Содом», — говорят <...> Правильно. Каково общество, таков и «Зимний день»»**.

«Содом» неминуемо был бы испепелен гневом Божиим, если бы не те немногие праведники, ради которых Господь изрек: «*Пощажу*» (Быт. 18: 26). В центре «Зимнего дня» — образ Лидии — идеальной героини, «женщины будущего», согласно ха-

* Редактор «Вестника Европы» М. Стасюлевич, которому Лесков предложил рассказ, опасаясь опубликовать его, отозвался о «Зимнем дне»: «Это — отрывок из «Содома и Гоморры», и я не дерзаю выступить с таким отрывком на Божий свет» (Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1. — С. 19).

** Цит. по: Фаресов А. И. Парадоксы Н. С. Лескова // Слово. 1905. № 147. 11 мая.

рактистике Лескова. Она следует Новому Завету; в споре с теткой, считающей, что «общество не так устроено, чтобы все по Евангелию, и нельзя от нас разом всего этого требовать» (12, 19),— именно евангельское слово помогает Лидии одержать духовно-нравственную победу. Было отмечено, что героиня целиком выражает лесковскую позицию. Это, по выражению сына писателя, как бы «фонограф автора».

Рассказ очень идеологичен: герои много говорят и спорят о Л. Н. Толстом и «толстовцах»: «не так страшен черт, как его малютки». Разжалованные Лесковым «малютки», «лепетуны», «ковырялки», «непротивленыши» были страшно обижены, сам же «яснополянский учитель» хранил молчание*.

В отношении к Л. Толстому Лесков сохранил независимость суждений и право на «разномыслие» с «яснополянским наставником». Не случайно Толстой пронизательно определил Лескова с их первой встречи: «Какой умный и оригинальный человек!»** В плане «ума и оригинальности» показательна следующая «нотатка» в одной из лесковских записных книжек: «В разъяснениях и толкованиях Л. Н. Т. есть “нечто неудобовразумительное” (как выражался Апостол Петр об Апостоле Павле), но он поднял современных ему людей на высоту, не достижимую для пошлости, не восходящей выше соображения “выгодности и невыгодности”, но во всех людях, тронутых им, наверное, уцелеет если не убеждение, то сознание или понятие, что “мы живем не так, как следует жить”»***.

Народная жизнь — это «юдоль плача». Лесков видит затравленного, полусумасшедшего, до крайности нищего — «лишенного» — «порционного мужика» («Импровизаторы» — 1892): «амкнул — и нет его» (11, 223). Это такой же «продукт природы», как и мужики-переселенцы в рассказе с одноименным названием (1893). Они делаются «продуктом» и для съедающих их вшей, и для социальных паразитов всех мастей. Длительная агония невыносима. «Столько уже этого вошеводства, что зуд делается от воспоминаний» (XI, 556),— восклицает в одном из писем Лесков.

И все же его последние произведения, полные ужаса, горечи и сарказма, освещаются изнутри светом Христовой истины. Так, в эпическом полотне «*рапсодии*» «Юдоль», когда «голод тела» и «голод души» доводит народ до тягчайших преступлений: воровства, разбоя, проституции, убийств, каннибализма,— когда кажется, что ниже упасть духовно и нравственно уже *некуда*,— основной тональностью, лейтмотивом звучат знаменательные слова: «*Надо подниматься!*» (XI, 298).

Лесков в своей «художественной проповеди» выступает не только как писатель, но и как духовный наставник своих читателей. В рассказе «*из отроческих воспоминаний*» «Томление духа» (1890) герой открыто говорит сильным мира сего неудобоваримые для них истины, за что лишается хозяевами места детского наставника. Рассказ завершается длинной прощальной проповедью на дороге. Пострадавший за правду, изгнанный учитель внушает провожающим его детям истины Евангелия, совершающие «поворот вовнутрь себя» (XI, 525); намечает духовно-нравственные ориентиры на всю дальнейшую жизнь: «Без клятвы будь правдив <...> не лги ни словом, ни лицом... Не бойся никого» (12, 395).

Как и во многих прежних произведениях («Пугало», «Зверь», «Привидение в Инженерном замке», «Несмертельный Голован» и др.), Лесков поднимает проблему *любви и страха* и устами героя доказывает, что с явлением Христа страх был побежден совершенной любовью: «Здесь трое нас, и кто между нас?... <...> Страх? Нет, не страх, а наш Христос!» (12, 395). Религиозно-нравственная позиция автора выливается в проповедническое душеспасительное наставничество: «Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите» (12, 396).

* Подробнее об этом см.: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 410 — 415.

** Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т.— Т. 86.— С. 49.

*** Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 407.

Ценитель и знаток искусства иконописи, Лесков находил, что и на русской иконе изображен не страшный Судия мира, а добрый *Спась*, готовый прийти на помощь. Являя «гениальное чутье к Православию»*, писатель был убежден, что у русского человека — «Христос за пазушкой» («На краю света»).

Оставшийся неизданным при жизни Лескова «Заячий ремиз»** — «лебединая песнь» писателя, которая под его пером вылилась в вековую мечту о *жар-птице*. Повесть притягивает внимание, ей посвящаются обстоятельные исследования, однако ни одно из них пока не исчерпало религиозно-нравственную и философскую глубину лесковского текста. Основанный на Библии, он по сути неисчерпаем и открывает все новые и новые возможности для интерпретации.

В «Заячем ремизе», впервые изданном в 1917 г.— «в эти абсолютно нелитературные времена»,— «загробный голос Лескова прозвучал со страниц “Нивы” как призывный колокол»***. Д. Философов сравнил выход повести в предисловии к ней с «белоснежным пшеничным хлебом русской литературы»****, который получили голодные физически и духовно читатели.

Загадочное название повести несколько проясняется в письме Лескова к Б. М. Бубнову <1891 г.>: «<...> *мнимый покой*”.— “*Зайца обманчивый сон!*.” Именно все это “заячий сон”, с одним закрытым глазом и хлопающими ушами от страха утратить все, чем владеешь. Кажи нам, что есть крепкого,— за что можно удержаться, не делаясь жертвой случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы понизить в тебе “Сына человеческого”, Которого ты обязан “вознести”, и других к тому же склонить, и убедить, и “укрепить слабеющие руки” (XI, 501). Письмо это, написанное по иному поводу, глубоко иллюстрирует концепцию «Заячьего ремиза».

Сатирическая сторона произведения: когда герою только и остается, что «скрыться» в своем частном сумасшествии от всеобщей невменяемости и безумия общественного устройства, а также все, что ведет к расчеловечиванию, «оболваниванию» Оноприя Перегуда, подробно описаны исследователями. Важно сосредоточить основное внимание на противоположно направленном изменении «натуры» героя: на пути его возвращения от «оболванивания» к «истинному человеку», то есть Божественному началу, скрытому тенью «телесного болвана», «пониженному», «жесточайше уменьшительному» (497). Перегуд осознает необходимость отыскать в самом себе и «вознести» «невидимую и присносущную силу и Божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени» (496).

Не только эпитафия, взятый из «Диалога, или разглагола о древнем мире» Григория Сковороды (1722—1794), но и другие христианские идеи украинского философа воплощает Лесков в своей повести. Основная из них — «надо идти и тащить вперед своего “телесного болвана”» (580), не позволяя ему взять верх над «истинным» — духовным — человеком.

Заразившись хронической «инфекцией» государственной политики — «ловитвой потрясателей основ», что «троны шатают»,— Оноприй Перегуд перерождается: внутренние изменения происходят и на внешнем уровне (не раз проходит мотив зеркального отражения — «*зеркаловидной тени*»,— заявленный в философском эпитафье): «у меня вид в лице моем переменялся <...> и стали у меня, як у тых, очи як све-

* Дурьлин С. Н. О религиозном творчестве Н.С. Лескова // Христианская мысль.— Киев, 1916.— № XI.— С. 77.

** В феврале 1895 г. (за несколько дней до кончины Лескова) М. Стасюлевич, редактор «Вестника Европы», испугавшись цензуры, отказался печатать повесть, извиняясь перед автором его же остроумной шуткой, позаимствованной из «Заячьего ремиза»: «можно очень самому обремениться <...> подвергнуться участи “разгневанного налимца” <...> и непременно попадете в архиерейскую уху». Цит. по: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 3-х т.— Т. 3.— М.: Худож. лит., 1988.— С. 646. Далее ссылки на страницы этого издания приводятся в тексте.

*** Философов Д. Пшеничный хлеб // Нива.— 1917.— №№ 41—43.— 28 октября.

**** Там же.

щи потухлы, а зубы обнажены... Тпфу, какое препоганьство!» (539). В зеркале Перегуд видит именно то, о чем предупреждал когда-то его родителей, решающих судьбу сына, умница-архиерей (образ колоритный, привлекательный, симпатичный и близкий самому Лескову): «Еще что за удовольствие определять сына в ловитчики! <...> “Се стражи адовныя, стоящие яко аспиды: очеса их яко свечи потухлы и зубы обнажены”» (516).

Жуткий *образ* «адова стража» из библейской Книги Еноха настойчиво повторяется на протяжении всей истории маниакальной одержимости героя подозрительностью, шпионством, доносами, погонями за мнимыми «сицилистами». Перегуд в прямом смысле теряет свою человеческую сущность, окончательно сходит с ума, когда выясняется, что «дерзновеннейший потрясователь» был его собственный кучер-орловец Теренька: «О, Боже мій милій! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно» (573).

С очами, «яко свечи потухлы», Оноприй Перегуд-становой безмерно далек от того мальчика-певчего, посвященного в стихари, каким он был, когда «перед всеми посередь дни свечю стоял и светил» (517). Он утрачивает божественный свет («истинного человека»), окончательно превращаясь в «болвана».

В эпизоде с «подозрительной» Юлией Семеновной — «коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии» (544) — Перегуд, дабы разузнать, что скрывают темные очки, просит позволения посмотреть в ее «окуляры» и ведет себя почти как в крыловской басне «Мартышка и очки». Он начисто лишается своего прежнего духовного опыта, забывает Священное Писание, которому был учен у архиерея, и попадает в преглупейшее положение, когда пытается «вывести на чистую воду» стриженую, в «окулярах» Юлию Семеновну, заставляя девушку написать о том, что она думает о богатстве и бедности. Ее записи, не распознав в них текстов Нового Завета (Мф. 13: 22; Иак. 2: 6), становой отсылает начальству как донос.

«Вот наименее несчастнейший человек, который охотился за чужими “волосами”, а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят» (573), — таково резюме автора.

Уже будучи в сумасшедшем доме, Перегуд верно трактует свое прежнее безумие, объясняя его причины «гордыней» и «безмернейшим честолюбием» (536). Другими словами — «он впал в искушение» (531), забыв слова молитвы Христовой: «И не введи нас во искушение...»

Показатель духовного выздоровления, освобождения героя из сетей «бесовского наущения» (ловя «потрясателя»), он сам был пойман и запутан в «сети», подобно приснопамятному «огорченному налиму») — следующая самооценка Перегуда: «когда я <...> вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается ужасно!» (536). Импульс к освобождению из адских сетей способствует торжеству человека.

«Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится» (576), — этим замечанием философа Григория Сковороды поясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для прежней «социальной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее» (576).

В доме для умалишенных Перегуд приближается к высшим истинам: он избавился от цивилизации, в которой все было скрыто мраком, перемешано (точнее — *помешано*). Теперь у героя «вырастают крылья», и по ночам он «улетает отсюда “в болото” и там высидивает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы» (579). Все стараются вывести жар-птиц, «только пока еще не выходят потому, что в нас много гордости» (580).

Знаменателен этот мифопоэтический образ жар-птицы — «золотой» небожительницы, обитательницы нового «Небесного града», символизирующей в новом контексте духовную просветленность, вознесенность к идеалу.

Духовное прозрение Перегуда ведет его к евангельской истине о том, что из несовершенного, греховного не может зародиться нечто совершенное. Люди пока дале-

ки от обожения, от заповеди Христовой: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5: 48),— хотя по гордыне своей уже мнят себя будущими творцами «жар-птиц». Однако «высидеть», духовно переродить «цаплины яйца» человеку без Божьей помощи не под силу.

Не случайно в повести несколько раз цитируется Овидий, запрещавший людям «пожирать своих кормильцев», а люди не слышат и не видят» (581). В обществе все «пожирают» друг друга, также и «цаплиным яйцом» человек хочет просто воспользоваться для пропитания своего «телесного болвана», а не «высиживать» нечто духовно высшее: «Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть» (580).

Перегуд видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болванами», социальными ролями, масками: «Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?» (580). Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана отразился в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: «я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врешь, и он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, Господи, пожалей!» (580). Это прямое обращение к Богу — *молитва за всех*, характерная для творений Лескова. Все достойны Божьей милости и жалости: одни страдают от сознания своей греховности, другие тоже страдают, потому что не ведают о собственном несовершенстве.

Приобщившись к этой истине, Перегуд «победил смерть» духовно. «Посему мы не унываем,— говорит Апостол Павел,— но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2-е Коринф. 4: 16). Эта евангельская истина проливает свет на «загадку» прощальной повести Лескова.

Картина грозовой «воробьиной ночи», развернутая в эпилоге в христианско-философское обобщение, приобретает поистине универсальный, космический масштаб. Громаднейшие буквы Г и Д — литеры, именуемые в азбуке «Глаголь», «Добро»,— вырезанные Перегудом, осветились «страшным великолепием» грозы и отразились «овамо и семо».

Так в последнем произведении Лескова метафорически исполняется его собственная мечта — писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензурой: настоящее изобретение не печатный станок Гуттенберга, ибо он «не может бороться с запрещениями», а то, «которому ничто не может помешать светить на весь мир <...> Он все напечатает прямо по небу» (581).

Однако герой, постигший истину, уже не может оставаться на грешной земле — тут же совершает он переход «в шатры Симовы».

Важная цель «позднего» Лескова — подготовка человека к выходу в другую жизнь: «Все чувствую, как будто ухожу...» — говорил писатель в одном из последних писем*. Происходит «раскрытие сердца, просветление духа, отверзание разумения»**. Так завершается «томление духа» и происходит его освобождение. Свершается паломничество человека к своему священному предназначению: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу, благодеевшему мне» (7, 350).

Незадолго перед тем, как самому оставить надетую на него на земле «кожаную ризу», Лесков размышлял о «высокой правде» Божьего суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем»***.

Всей «художественной проповедью» своего творчества Лесков сам стремился приблизиться к уяснению «высокой правды» и исполнить то, что «Богу угодно, чтобы “все приходили в лучший разум и в познание истины”»****.

* Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 468.

** Там же.

*** Цит. по: Лесков А. Н. Указ. соч.— Т. 2.— С. 467.

**** Там же.

Александр Балтин
(г. Москва)

К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. ЛЕСКОВА



Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая собрание сочинений в 5 томах), свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Италии, Польши, Словакии, Израиля, Эстонии, США. Лауреат международных поэтических конкурсов, стихи переведены на итальянский и польский языки.

1

И в простоте заложена огромная сложность — трагедия тупейного художника не уступает внутренней панораме переживаний представителей привилегированного класса.

Русское, национальное, хлебом и землей пахнущее точно увеличено гигантской лупой повествовательного Лескова — и шествует по миру Левша, поражая умениями своими, которых сила не может быть заемной. Тем паче, поддельной.

Развернется огромным цветком страсть Леди Макбет — чтобы, начав гнить, превратиться в свою противоположность: страшную, трагедию рождающую...

Очарованность странников столь же естественна, сколь разнообразны, хотя похожи в чем-то, российские дороги; и тут подлинное прикосновение к душе выявляет корневую сущность русской реальности: душа важнее всего, именно ее необходимо развивать...

Брызги специфического — в том числе церковного — юмора разлетаются самородно по страницам, и увлекающийся Ахилла Десницын, с голосом, который, как пушка, стреляет, вторгается пением в простор тишины, когда служба уже закончена.

Могучее строение «Соборян» не подлежит сотрясению времени (хотя трудно представить представителей последнего поколения, способных внутренне обогатиться, читая роман, только дело тут не в произведении, а в пошлой низине нынешнего воспитания).

Лава слов течет, увлекая эстетически развитые души; плетение фраз столь же искусно, сколь и своеобразно, и сколько же странников, чудаков, страдальцев, праведников живописует Лесков! Он писал много — помимо художественной литературы, отдавал дать публицистике, и, казалось, не было тем, не волновавших его — и церковная жизнь, и мелочи архиерейского бытования, и особенности государственного устройства — всего касался выпуклый окуляр писательского взгляда.

...крутой нравом, коллекционер и знаток российских древностей, Лесков, вероятно, тяжело раскачивался, прежде чем захватить новый пласт российской действительности и положить его на бумагу: так, чтобы расцвели словесные сады — не подлежащие увяданию, не зависящие от времени.

2

Гудящая бездна содержания «Соборян»: нечто древле-русское, изначальное, кондовое, дремучее, родное...

Движение, прогресс, развитие — все словно парализовано застоявшейся — или устоявшейся — нормой бытия: церковно-правильной, не подразумевающей никаких изменений.

Плетется язык, словеса слагаются в орнаменты, в картины природы такие, что залюбишься, в человеческие характеры, какие и пожелав забыть — не забудешь...

Выходит на сцену Ахилла Десницын — с голосом, какой яко пушка стреляет; увлекающийся Ахилла, продолжающий петь, даже когда служба закончена.

Савелий Туберозов, точно в Византии застрявший, правильный, домовитый...

Старгородская поповка; предводитель дворянства, везущий в Старгород три трости: две с золотыми набалдашниками, одну с серебряным, для Ахиллы, чем наводит на того сомнения...

И событий в Старгороде полно, даже с точки зрения Захарии Бенефактова, что воплощает собой кротость и смирение: такие, что, мол, в трубочку свернулся, свитки священные полагая в середке сущности своей; учитель Варнава ставит опыт над утопленником, чем уязвляет Десницына; во время купания, когда пейзаж представляет простоту жизни, Ахилла выезжает из реки на красном коне, и рассказывает, что отобрал у учителя кости, но их снова украли; Ахиллой-вином просит называть себя Десницын, обещая «выдушить вольнодумную кость» из города...

И далее происходят события повседневности, цепляясь крючочками своей незначительности за такие же — пустые, очень важные для живущих.

Густота человеческой плазмы, представляемой Лесковым, чрезвычайно велика; и лица, выступающие из нее — пусть не столь важная для повествования просвирня — всегда обладают отчетливостью людей, с которыми сводит читателя жизнь.

Поправка на время?

Конечно...

Но ведь и в сегодняшней церкви можно встретить огромнотелого, трубногласого Ахиллу, или почти не разгибающегося Бенефактова...

И язык Лескова, являясь дополнительным (когда не основным) персонажем, гудит, льется, играет красками и бликует оттенками оных великолепно, колдовски, магически...

3

Уездный город с его сонной жизнью и сонной дичью; возвращение осужденного в прошлом по политическому делу Висленева, сестра, встречающая его, бывшая невестка, вышедшая за генерала, о котором идет ужасная слава...

Тишина...

Нет — гниль, зреющая, как плод.

Не зря же и называется роман жестко: «На ножах».

Плетение словес Лескова не делается иным, какие бы сюжеты он не использовал, против чего не писал бы; или наоборот — что бы не воспевал...

Плетение густое, затканное плотной тканью страницы сияют перлами смыслов.

...кому же принадлежит привидевшееся Висленеву зеленое платье?

Ропшин, Подозеров — фамилии героев у Лескова бывают довольно странными: что может находиться под озером? Слои грязи?

Но из бреда молодых людей можно извлечь выгоды.

Так быстро понимает Горданов, провозглашающий «иезуитизм» заменой нигилизма.

Хрен редьки не слаще.

Авантюренность романа точно запутывает его в самом себе, что отмечали уже современники, в частности Достоевский: может быть, так отображается путаница, царящая в головах людей?

Или сам нигилизм, черной массой накатывавший на российское общество, не предполагал ясности?

Темные дела творились, черные планы вызревали...

В «Некуда» возникает долго живший за границей социалист Райнер: толком не представляющий русской жизни.

Нигилистка Лиза Бахарева прорисовывается даже и с симпатией; однако вожди движения даются сгустками властолюбия, безнравственности; соль их жизни — удовлетворение собственных амбиций; суть их душ: сплошные изломы.

Пустота страшна тем, что человек сам не знает, чем ее получится заполнить.

И Лесков, убежденный в чрезвычайном вреде нигилизма, точно противопоставлял грядущее и патриархальное: в котором тоже много изъянов; однако, именно оно позволяло долго стоять земле русской.

4

Космос Лескова от древности русской, глубины ее, своеобразия, густоты, иконописи, церковности.

Космос его — и от страсти — неистовой, ярой: хоть леди Макбет Мценского уезда, будто вынутая из недр шекспировской яви, хоть Язвительный...

Мастера из «Запечатленного ангела» не грамотны, но как изощренно понимают они богословие; какие насыщенные разговоры ведут.

Вера для Лескова не отделима от церкви, от православия, известного ему до корней, до нюансов догматики, до церковного быта.

Растут «Мелочи архиерейской жизни».

Высятся типажи: кротость Савелия Туберозова компенсируется добродушной мощью Ахиллы Десницына...

А вот страшным мороком наползают на реальность «На ножах» и «Некуда»: гниет мысль и ее гниение дает ужасы нигилизма: и духовно-глетворный дух идет на действительность из провинциальных дыр: страшно, смрадно.

Но... сколько типажей выписано волшебными словесами: хоть тупейный художник, хоть Левша, хоть очарованный странник.

И густота языковая не ветшает, по-прежнему изображая глубины русскости.

5

Очарованность, как сопричастность тайне: отчасти неизреченной, отчасти проступающей образами мест тогдашней России.

Очарованный странник изучает ее версты, как книгу книг: и боль, и страдания, выпадающие на его долю, обозначены такой же необходимостью, как радость восхода.

20 глав: каждая, как часть пути: а вернее — часть жития, согласно канонам которого и написана словесным серебром повесть...

Детство развернется, детали будут колоритны, подробности заиграют, как ювелирные украшения; тема коней проявляется, как порывы красоты и силы; а дальше — распустятся ленты искушений, богата которыми жизнь, и неизвестно для чего они, зачем заполняют столь изрядное пространство; но и отношение к бытию героя — спокойно-стойкое, нежное, истинно очарованное...

А контрастен ли Ивану Северьяновичу язвительный?

Язвительность, как характеристика, сама по себе достаточно едкая — и не ред-

кая; человек подобного нрава точно изучает реальность под собственным углом, и градус его притяжения или неприятия оной зависит от окраса того фрагмента реальности, какой он видит.

«Воительница» — повествующая о том, как жизнь все расставит на свои места, и Домна Платоновна, убежденная, что все люди злые и подлые, кроме нее, сама попадет в положение жертвы... любви...

Каждый рассказ или повесть Лескова — как новая краска в бесконечном исследовании русской особенности, русскости, как феномена, отдельного характера, как судьбы всеобщности: и все, описанное некогда классиком, мы можем наблюдать в другом антураже в недрах и нынешней жизни...

6

Какие слова!

Из неведомой руды взяты, обработаны, поданы: мелкоскоп, Аболон полведерский...

Можно выписывать и выписывать, впитывать и впитывать...

Млеко русской речи не знает пределов питательности...

Каков задор Левши — мол, нимфозория нимфозорией, а отечество позорить не дадим, и Платову доложим: сами не знаем, что — но предпримем что-нибудь обязательно...

И предприняли, всех удивив, и мелкоскоп, как известно, не потребен, коли глаз пристрелявши...

Есть ли метафизика в знаменитом сказе?

...даже метафизика русскости в нем сокрыта: или открыта рудой великолепно выплавленных слов.

Светится сказ: точно жар-птица пролетела, обронив перо, и Лесков умудрился, как Левша, не нуждаясь в мелкоскопе, расшифровать все его золотящиеся крапинки, пятнышки, узоры: сложные, скрывающие в себе нити судеб...

Кроткие мастера — могущие превзойти кого угодно.

Незловивые — хотя если надо и пистолю такую сделаем, что англичане свою считают.

Да и не завистливы мы: многое можем, а хвалиться не будем.

Тем паче — бахвалиться.

И сияют, переливаются на солнце духа великолепные, дивные слова, поражающие в нынешних, техногенностью сызмальства отмеченных детей — слушают они Левшу, заслушиваются...

7

Можно ли рассматривать историю человечества как подъем — постепенный, всех, очень неспешный?

Сложно увидеть — да?

Но — и сложно не согласиться, что сейчас грамотных на много порядков больше, чем триста лет назад, а пытки — по крайней мере, официально — не применяются нигде...

Тем не менее, способность доставлять другому боль развита в человеке чрезвычайно: и чтение, перечитывание «Тупейного художника» потрясает: кажется — из сегодняшнего далека: так быть не может, и то, что это было меньше двухсот лет назад, заставляет волосы вставать дыбом.

Крепостное право, — что проклятье России, учитывая насколько оно затянулось, имея в виду все, чем оно задавила сознания и души людей...

Человек-предмет, человек-вещь, человек, даже не задумывающийся, что может быть иначе.

...бунт Аркадия, выламывающего плечом окно и пытающегося бежать с Любой — как светлое пятно в недрах безнадежности, представляемой рассказом, который не мог закончиться хорошо: из одного его можно вывести насущную необходимость революции, зревшей чрезвычайно долго: пока окончательно не переполнились духовным гноем многие нарывы на теле империи...

...в чем-то противоположна «Тупейному художнику» «Леди Макбет Мценского уезда»: сколь персонажи первого не мыслят себя вне рабства, столь герои второй — сплошь порыв к абсолютному свободоволию...

Его не бывает, и трагедия наслаивается на трагедию, страсть любовная превращается в чувство с обратным знаком.

Катастрофа каторги кошмарна: как деревянное спокойствие Катерины Львовны — когда вся партия во главе с Сергеем над ней издевается.

Гордость выше всего, выше любых страхов: даже пред Богом, расплатой, посмертным существованием, в которое тогдашние люди верили автоматически, — Измайлова совершает убийство и самоубийство...

Сила и слабость: сила, обращенная во зло, слабость не позволяющая рвануться к силе: таковы мотивы двух этих произведений Лескова — сделанных столь сильно, что пыль времени не оседает на них.

8

Преизящество богозданной природы велико есмь...

Марой, напоминающий верблуда, изобретает такой способ разбивать болты, что о староверах слава сильная пускается...

Язык «Запечатленного ангела» сугубо лесковский: с густотой непредставимых ныне словес, организующих колорит повести в не меньшей мере, чем плетение сюжета.

Некоторых событий в результате, запечатывают жандармы, напавшие на жилище, иконы бурым сургучом, а бурый, о чем не сказано у Лескова — цвет греха.

Иконы, сваленные в подвал, а одна, приглянувшаяся архиерею, в алтарь ставится; да решают староверы выкрасть и распечатать...

...Маркуша, объясняющий Якову Яковлевичу, что ныне мастерство утеряно, рассуждает о тонкости иконописи с тою мерою прозрения, что потрясает не причастного к предмету...

Многое еще свершится, заклубится волшебным языком, заставит погрузиться в прозрачно наполненный котел былых событий...

Почувствовать ли ныне: изображенная, как надо, небесная слава помогает Писание уразуметь, а о деньгах и всей славе земной думать, как о мерзости перед Господом?

Многого не почувствовать ныне, не понять-познать, не ввести в ум, соблазнами оплетенный...

Знал Лесков, как плетутся они, ведал, как можно ангела распечатлеть, а миру поведал про контраст между внутренним и внешним: в тяжело писанной, на икону словесную похожей повести своей...

